Яснослышащий

Автор:
Павел Крусанов

Яснослышащий

Павел Васильевич Крусанов

Книжная полка Вадима Левенталя

Герою книги, человеку с феноменальным слухом, весь мир представляется единой симфонией – в самом музыкальном смысле слова. Подобно пифагорейцам древности, он уверен: гармония сфер и музыкальная гармония – вещи одного порядка и связаны между собой. Он пытается воссоздать и заново организовать творящие звуки, чтобы сделать материю покорной своей воле. Так ли он неправ? И не виновен ли, в действительности, великий музыкальный реформатор Вагнер во всей последующей истории Германии?

Кроме того, книга содержит сведения о причудах физиологов, плодящих двухголовых собак, экспериментальной медицине, создающей банк донорских органов в теле свиньи, донбасских ополченцах и необычайных свойствах гороха.

Павел Крусанов

Яснослышащий

© П. Крусанов, 2019

© ИД «Флюид ФриФлай», 2019

© П. Лосев, оформление, 2019

* * *

Яснослышащий

Итак, в каждой трагедии непременно должно быть шесть (составных) частей, соответственно чему трагедия обладает теми или другими качествами. Эти части: фабула, характеры, мысли, сценическая обстановка, текст и музыкальная композиция. К средствам воспроизведения относятся две части, к способу воспроизведения одна, к предмету воспроизведения три, и кроме этого – ничего.

Аристотель. Поэтика

Он не верит, что на свете есть что-то, лишённое голоса. Он проникает всюду – утренние зори, лес, туманы, ущелья, горные пики, трепет ночи, лунный свет, – он проникает в них и понимает их тайное желание: они тоже хотят звучать.

Ф. Ницше. Рихард Вагнер в Байрейте

Но главное, что нас сейчас интересует, – это аргумент относительно музыки.

А. Секацкий. Партитура неслышимой музыки

Увертюра

Родители не раз рассказывали, как в шестилетнем возрасте мне в горло вцепилась жуткая ангина – что-то невообразимое, из ряда вон. Полагаю, я был знаком с её хваткой и раньше и уж точно испытывал эту саднящую удавку потом, но тут особый случай. Температура – сорок. Резь в гортани такая, что – ни кашу съесть, ни чаю выпить, ни сглотнуть слюну. Плюс забытьё, горячечный бред и приступы удушья. Вызвали неотложку. Врач настоял на срочной госпитализации, и скорая увезла меня в больницу. Сказали: состояние критическое – вопрос жизни и вечного покоя.

Но дело, собственно, не в ангине. Когда кризис миновал и болезнь отступила, медики, коль скоро угодил к ним в лапы, решили провести обследование моего небольшого организма. Всё было в норме: гемоглобин и сахар, кожные покровы и пищеварение, сердце, щитовидка и надпочечники, нервные реакции и проба Пирке. А вот флюорографический снимок показался подозрительным. Сделали ещё один, после чего назначили ультразвуковое зондирование, благо в больнице проходил обкатку экспериментальный аппарат. Эхограмма к изумлению врачей показала в моём теле странное образование размером с перепелиное яйцо, чуть вытянутое и имевшее в верхней трети перетяжку, как рыбий плавательный пузырь. Образование располагалось над диафрагмой, между спинной стенкой пищевода и позвоночником. Решили – опухоль. И, хотя пациент никаких жалоб не высказывал, постановили: после выписки рекомендовать осмотр в онкоцентре.

Окончательно расправившись с ангиной, врачи, прежде чем передать меня спецам в Песочном, сделали повторное УЗИ и снова изумились. Опухоль не то чтобы исчезла, но сократилась по меньшей мере вдвое. Странное образование как бы дышало, медленно пульсировало, и не было никаких гарантий, что оно не растворится вовсе. Чтобы не попасть впросак и определить точнее, к ве?дению какой из медицинских областей относится мой случай, пригласили для консультации молодого, но уже авторитетного онколога. Тот посмотрел флюорографический снимок, эхограммы, и глаза его зажглись. Дело пахло докторской.

Специалист подавал большие надежды и был любим профессорами. Он деликатно поговорил с моими родителями и убедил их в целесообразности дополнительного обследования, дабы окончательно увериться, что с их ребёнком всё в порядке. Взволнованная мать (несмотря на доводы, что нет никаких оснований для волнений) взяла неделю за свой счёт, и мы в сопровождении специалиста отправились в Москву.

В Москве тогда как раз испытывали первый в СССР опытный образец установки магнитно-резонансной томографии конструкции Владислава Иванова, дававшей послойное трёхмерное изображение внутреннего устройства пациента. График работы на установке был расписан между медицинскими светилами по часам, спор шёл за каждую минуту, но мне с моими эхограммами отвели внеплановое время, подвинув в сторону исследования опального корифея Неустроева.

Благодаря послойному сканированию на установке Иванова опухоль наконец-то удалось разглядеть как следует. Снаружи она в точности походила на уже описанную фигуру в виде вытянутого яйца с перетяжкой, покровы которого состояли из соединительной ткани неопределённого характера с трабекулами и вкраплением нейроноподобных структур. Ткань эта была эластичной и едва заметно раздувалась и сжималась, так что образование напоминало воздушный шарик, в котором то и дело менялось давление воздуха. Довершало сравнение с шариком то обстоятельство, что внутри образования ничего не было – оно представляло собой пузырь. Вопрос об онкологии не то чтобы отпал, но повис в пустоте. Биопсию ткани сделать не удалось – при попытке взятия образца шарик исчез, сдувшись до таких размеров, что его было уже не разглядеть. Словом, образование оказалось весьма своенравным, изобретательным, живущим каким-то собственным умом.

Констатировав уникальный случай, молодой специалист решил осторожно посоветоваться с коллегами.

Работавший с ним в очереди на установке Иванова опальный корифей Неустроев был автором некогда нашумевшей монографии «Пересадка жизненно важных органов в эксперименте» – первого в мире руководства по трансплантологии. Учёный-экспериментатор, он вообще всё делал впервые в мире. В 1937 году, ещё студентом-третьекурсником, он сконструировал механическое сердце и подключил его собаке вместо настоящего. После операции собака прожила три часа. В 1946-м он первым провёл операцию по пересадке сердца от одной собаки другой, а вслед за тем успешно провёл пересадку сердца и лёгкого одновременно. Подопытные с пересаженными органами жили по несколько суток. Прежде сердечно-сосудистая хирургия ничего подобного не знала – трансплантаций сердца в грудную клетку животного ещё не делал никто. Отрабатывая методику пересадки органов, Неустроев первым применил метод коронарного шунтирования, вшивая часть внутренней грудной артерии в коронарную. Ему удалось решить главную проблему при наложении шунта – недостаток времени, ведь при подобной операции сердце искусственно останавливалось и в распоряжении у хирурга оставалось не более двух минут. Фокус заключался в изобретённом Неустроевым составе для склеивания сосудов на основе не то прополиса, не то рыбьего клея.

В 1951 году на сессии Академии медицинских наук он провёл публичную операцию по пересадке донорского сердца и лёгкого собаке Лушке. Очнувшись от наркоза, собака первым делом направилась к миске с едой. Прожила Лушка

восемь дней и умерла от инфекции, занесённой при случайном порезе.

Даже учёную степень кандидата наук Неустроев умудрился получить не как все, а только на полтора часа. Дело было так. Защита кандидатской проходила в переполненном зале в атмосфере скандала – Неустроев, парадоксальным образом занимая должность младшего научного сотрудника в собственной лаборатории (не было ни степеней, ни званий), успел нажить себе как восторженных почитателей, так и непримиримых врагов. Приближённые профессора Щапова, давнего и последовательного недоброжелателя Неустроева, пытались сорвать заседание совета, однако оппонент соискателя профессор Калачёв заявил, что рассматриваемая кандидатская работа весит больше всех докторских диссертаций её критиков, вместе взятых, после чего противники Неустроева покинули зал, а оставшиеся устроили Неустроеву овацию стоя. Вслед за тем учёный совет – невероятный случай! – решил проявить принципиальность. Последовало повторное голосование, по результатам которого Неустроев, пробыв кандидатом наук девяносто минут, сразу получил докторскую степень.

В своей маленькой лаборатории при Институте Склифосовского Неустроев воистину творил чудеса. В середине пятидесятых он пересадил голову одной собаки на туловище другой. Цель эксперимента – научиться пересаживать органы с наименьшими повреждениями. Для операции отбирались крупные собаки и молодые щенки. Под наркозом тело щенка разрезалось в средней части грудной клетки – передняя половина с лапами и головой, но с удалёнными сердцем и лёгкими пересаживалась целой собаке в район шеи перед загривком. После сшивания сосудов налаживалось общее кровообращение и пересаженная голова оживала. Так в лаборатории Неустроева появились двухголовые собаки. Документальный фильм о пересадке собачьей головы в 1956 году был показан в США, после чего Неустроев получил мировую известность: хирурги превозносили его, защитники животных проклинали до седьмого колена. Многие видные зарубежные медики специально приезжали в СССР для того, чтобы присутствовать на операциях Неустроева. В его лаборатории стажировались хирурги из Германии, США, ЮАР и Австралии. Дважды Неустроеву ассистировал на операциях знаменитый впоследствии кардиохирург Барнард.

Все эти сведения моя мать почерпнула из бесед с всеведущим медицинским персоналом, пока тело её сына послойно и трёхмерно изучала опытная машина Иванова.

В 1965-м Неустроев разработал метод сохранения жизненно важных органов в рабочей форме путём их подключения к кровеносной системе живого организма. В качестве временного хозяина донорских органов использовалась свинья, кровь которой заменялась на человеческую. Неустроев помещал трупные органы человека в брюшную полость свиньи и соединял их с кровеносной системой животного. Ему удавалось таким образом оживлять трупные сердца людей через шесть часов после смерти их хозяев. При этом свиньи оставались подвижными. Неустроев умудрялся одновременно подключать к одной свинье четыре сердечно-лёгочных комплекса и сохранять их в действующем состоянии в пределах недели. Так был создан банк человеческих органов на копытах.

Злопыхатели считали исследования учёного мракобесием и шарлатанством. Благодаря их усилиям Неустроев угодил в опалу вышестоящих инстанций. На его экспериментах уже готовились поставить крест, как тут южноафриканский врач Кристиан Барнард – через двенадцать лет после Неустроева – провёл операцию по вживлению собаке второй головы. А через некоторое время произвёл первую в мире пересадку сердца человеку. Мир рукоплескал Барнарду, однако тот во всеуслышание заявил, что у него бы ничего не вышло, не преподай ему в своё время практический урок его русский учитель.

После этого административное давление на Неустроева немного ослабло, и он даже был допущен к работе на опытной установке Иванова.

«Наблюдать, наблюдать и наблюдать, – сказал корифей, ознакомившись с данными по моему пустотелому образованию. – Пока пузырь не угнетает организм, об операции забудьте думать». Действительно, а что если во время операции шарик исчезнет? Что если это коварное фантомное образование специально провоцирует врачей на то, чтобы его удалили, как лишний орган, а оно в действительности совсем не лишнее? И стоит к нему прикоснуться скальпелем, как в лучшем случае пациент умрёт, а в худшем… случится чёрт знает что и распадётся мироздание?

Между тем я чувствовал себя прекрасно, был здоров, непоседлив, полон жизни. Видя это, мать твёрдо сказала врачу, что раз обследование не выявило вредоносного характера странного вздутия (а оно его не выявило), она забирает меня домой. Договорились, что я время от времени буду наблюдаться у доставившего меня сюда специалиста, а в случае каких-либо необычных симптомов и недомоганий мои родители обратятся к нему немедленно. Должно быть, молодой врач, любимец профессуры, не оставлял надежды слепить из

моей истории болезни если не диссертацию, то полноценную научную статью.

Впрочем, в любом случае с операцией возникли бы сложности. С учётом возможных рисков, необходимо было заручиться письменным согласием родителей. Теперь в стандартной форме подобного согласия есть пункт, который непременно в том или ином виде присутствовал и прежде. Этот пункт звучит так: мне разъяснена и понятна суть заболевания. А с этим – некоторые затруднения.

Я вовсе не склонен думать, что воздушный шарик внутри меня – единственная причина всех моих проблем и заморочек. Более того – до поры я о нём забыл. Забыл бы окончательно, не напоминай мне родители о моей выдающейся ангине. Живут же некоторые, даже не догадываясь, что в голове у них присутствует гипоталамус.

И тем не менее…

И тем не менее – да, причина. Но убеждён: отсутствие шарика – бо?льшая беда.

Действие первое. Оглашение мира

– Мы нуждаемся в друзьях, потому что дружба – это наслаждение: азарт беседы, хмель застолья, живая глубина молчания. Это восторг открытий и радость понимания того, что внутренне становишься богаче – словно надуваешься чужим дыханием и летишь. Ведь наши друзья всегда в чём-то лучше нас – таков секрет притяжения. А вы? Что вы способны предложить? Вы такой же буржуазный ловкач, как и я. Чем мы обогатим друг друга? Страстью стяжания подтяжек от Кляйна и чуней от Бротини? Нет, мне не нужна ваша дружба. Таким, как мы, нечего сказать друг другу. Нам следует держаться подальше и не испытывать судьбу.

Парень оторопел, посмотрел недоверчиво, словно бы взвешивая мои слова – горькая исповедь или плевок? – и отвалил, так и не решив, что выразить бровями – недоумение или обиду. На что рассчитывал? Думал, осчастливит своей готовностью открыть мне сердце? Но я не за этим здесь. Я заглянул сюда по

делу, пусть и праздному – выпить чашку эспрессо и вычерпать креманку взбитых сливок. Воздушных, обметённых шоколадной крошкой. Где вам ещё их в городе дадут? А этот, источая крепкий дух олд спайс («один пшик – весь день мужик!»), увидел, скользнул из своего угла и – будьте-нате: вау! я вас узнал, вы классный, давайте сводить знакомство и фрэндить на дружеской ноге… Вот что бывает, если доведётся засунуть голову в телеэкран. Как было тут не щёлкнуть по носу? Я мигом разобрал мелодию его душонки.

Допил кофе, выскреб ложкой донышко креманки и, провожаемый – уже недобрым – взглядом из угла, вышел вон. Надо ещё купить мороженое для Ники.

Кстати, о мелодии… Хотя тут не о чем и толковать: каких материй мы бы ни касались – псовой охоты, чёлмужских сигов или, допустим, Марксового приснопамятного «сюртука» (der Rock), – мы говорим всё время о себе, то есть о своей душе, страстно желающей вселенского признания. И через любую щёлку мы её являем, оповещаем о ней мир, порой отчёта в том не отдавая, – вот, мол, какая она у нас тонкая, ершистая, неповторимая, чудна я… И так всегда. В каждом слове нашем душа, как младенец в утробе, толкается – рвётся на свет: из одного торчит наружу, словно монтёр из люка, из другого только глазом лупает, будто котёнок из валенка. А из речей того, что подкатил ко мне в кафе, плечом вперёд рвалась никчёмная душонка. И чтобы различить её напористый мотив, не надо штудировать басовый и скрипичный ключ в консерватории. Надо всего лишь обрести безмолвие. Тогда сумеешь и другого расслышать верно, и для себя уловишь истинный напев. Его подхватишь, последуешь за ним – и будет счастье. Такое, каким быть ему и надлежит – деятельное, текучее, живое.

Говоря о безмолвии, надо понимать, что речь идёт не о молчании вмещающего нас бедлама, поскольку здесь не сыщешь немоты, здесь вечно что-нибудь то скрипнет/треснет, то квакнет/громыхнёт, – речь о внутреннем безмолвии, гарантию которого даёт определённого извода глухота. Врождённая или усилием труда приобретённая. Само собой, желанное безмолвие не абсолютно – слух не отключён, а просто правильно настроен, благодаря чему твой резонатор отзывается лишь на манящую свою мелодию, поскольку она пропущена сквозь фильтры, так сказать, тугого уха и облущена от фоновых шумов внешней бла-бла-сферы. А слышать свою мелодию надо непременно – только она способна обеспечить успешный танец на канате, натянутом над бездной (помните? один усатый немец говорил). Пока следуешь своей мелодии, ты неуязвим, ты знаешь путь и ты бесстрашен. Но если твоё потаённое безмолвие, эти чистые звуки в тишине, перекроют посторонние шумы – ты обречён и неспасаем, какой бы

поводырь ни предложил козьей тропой сопроводить в Эдем.

Всё, что касается фильтрации шумов, конечно же, не новость. Этот принцип вполне укладывается в русло картезианской парадигмы с её универсальным скепсисом. С её стремлением к ясности и чёткости в опыте скользких восприятий и туманных откровений. Ведь нарастание шумов даёт картину, для которой нормой становится лоскутность, мелькание выхваченных впечатлений, прерывистость соображений и догадок. Связное сознание рассыпается на крупицы/эпизоды, случайно и некстати сменяющие друг друга, – причём всякий раз выходит так, что каждая крупица в момент своего нечаянного предъявления, поражённая внезапным приступом величия, представляет себя не клочком, а всем сознанием в целом.

Конечно, там, за чашкой кофе, про буржуазность я схитрил – не выношу на дух. По крайней мере, в той жизни, о которой речь. То есть иной раз, разумеется, доходит запах и заставляет прятать нос в платок… Чтобы не прятать, нужна привычка, как к вину и дыму. На всё можно подсесть: крэк, анархизм, либерализм, пивасик, буржуазность… Пока Бог миловал. Надеюсь, будет милостив и впредь. Без самообольщения – того, что у прослойки, которая морщила нос и мнила себя духовной аристократией, на деле оставаясь духовной буржуазией с наморщенным носом. Какая наглость! Благородство перенять нельзя: чай, не заёмная деньга. Об этом, помнится, писал русский глашатай нового средневековья. Ведь достояние аристократа даровое, наследственное, а не добытое трудом и по том собственных усилий, – раз это так, то оно невольно определяет в нём ряд характерных черт. Скажем, аристократу чужды рессентимент, обида, зависть и вообще любые копошения на этот счёт, свойственные человеку из подполья. Аристократ способен быть обидчиком и даже часто обижает, но быть обиженным – увольте, никогда. Обида, как и зависть, не входят в арсенал его переживаний. Всякую обиду аристократ воспринимает как хуление чести – своей и своих предков – и в тот же миг готов отстаивать её с оружием в руках, смыть кровью оскорбление – поставить жизнь на кон, но ни мгновения не быть обиженным. Другое дело – зависть: раз ценность аристократизма даровая, её уместно уподобить красоте, которая даётся ни за что, а только от избытка сил прекрасного в природе – красив сам собой, таким родился и по этой же причине независтлив. В отличие от иных сословий, черты которых процарапала резцом нехватка, аристократы есть произведение избытка, и подлинному аристократу свойственно от этого избытка отдавать – быть щедрым и великодушным.

Понятно, в приложении к сегодняшнему дню говорить о благородстве не приходится, но… Бывают такие люди – журавль перелётный, кочевник, скользящий по земле, которую он несказанно любит, при этом к ней не прирастая. Речь о них. Ведь у кочевника есть Родина, ещё как есть. Он просто не прибил себя гвоздём к клочку пространства, к недвижимой, неподъёмной с места вещи: он любит и эту кочку, и эту речку, и тот пригорок, и вон тот овраг, и со всей этой родной землёй он – душа в душу. И ей не причинит вреда, поскольку за неё были в ответе его предки, и за неё в ответе он. Но, как и Сковороду, мир не поймал его. Так и со мной. Нет у меня ни уютно обустроенного дома, ни загородного поместья с клумбой и мангалом. Хотя позволить что-то вроде мог бы. Теперь, по крайней мере, – недаром проходимцы узнают в кафе. Но у меня их, лакомств этих, нет – есть келья-логово, рабочий внедорожник и надёжная палатка в багажнике, выдерживающая без протечек ливень. Лучший бутик на мой суровый и нецеремонный вкус – лавка «вторые руки». Возможно, помимо воспринятого с детства равнодушия к вещам, причина скромных притязаний в милости небес, пославших благодать о них, вещах, не думать, поскольку всякий раз в жизни устраивалось так, что необходимое являлось. Но разве это важно? Впрочем, как знать – быть может, доведись мне, как доводилось многим, участвовать в безумной гонке за процветанием/наживой, качаться маятником от успеха к пепелищу, мне никогда б не распознать звучания тех струн, чей звон, вопреки дремучему запрету, слух мой (называю это слухом по привычке) способен различить. Было у Хлебникова: «Ведь это случается, что на расстоянии начинают звенеть струны, хотя никакой игрок не касался их…» Касался. Очень даже касался.

Что я хочу сказать? А вот что. Традиция человеческой премудрости – с Платоновой Академии и до наших дней – толкует истину как нечто в той или иной степени незримое. Обитателям пещеры крутят на стене/экране довольно скверное кино, где лишь мелькание теней, тусклые отсветы, размытые наплывы и прочие увечные проекции подлинного бытия – это, как помним, и есть наше представление о сущем. С тех пор и доныне в европейской метафизике традиция оптического описания предмета, прошу простить за невольное потворство этой практике, бросается в глаза: небесные эйдосы, недоступные земному зрению, пролитая из разбитых сосудов и пребывающая в изгнании шехина (божественный свет), постигающий природу вещи lumen naturalis Декарта и Спинозы… Тот же оптический закос и на площадке бытовой риторики: сияет светоч разума, оспаривается взгляд на вещи, пленяют радужные мечты, поблескивает луч надежды… Про чёрные помыслы, белые зарплаты, серые будни нечего и говорить – зелёная тоска. Вся многовековая работа философии, покорной диктату голодного зрачка, сводилась, в сущности, к тому, чтоб

умозрительно дорисовать, достроить, допредставить невидимую часть айсберга истины. А между тем, как нам авторитетно заповедано, в начале было Слово. Не форма, не чертёж, не образ – Слово. И поскольку язык творения неведом нам (всякий чужой язык для слуха не более чем тонированный строй гласных и согласных, значение которых, в принципе, равно значению нот и тембров в музыке), то нет ни кощунства, ни ошибки в утверждении, что в начале был вещий Звук. И Звук был Бог. Он, Всемогущий, гремел чередой творящих глаголов/аккордов, а усмирённый хаос внимал гармонии и обращался в космос. Тот космос, где в единстве справедливости и раздора над противостоянием стихий царит и всё пронизывает восхитительное иго – разумная душа симфонии, которая привносит согласие и мир в лютую тяжбу вздорных звуков.

Доверившись чутью, пожалуй, можно было бы предположить, что… Впрочем, зачем расшаркиваться, деликатничать? Акустический ключ способен отворить дверцу тайны и исправить один существенный просчёт в записи Книги: Бог, будучи одновременно Симфонией и её Создателем, разумеется, не видел, а слышал каждый день творения, когда оценивал, что это хорошо. Божественное зрение взыскует ослепительного совершенства уже созревших, будь они неладны, эйдосов. Созревших – значит, замерших и неизменных. В то время как процесс творения – это ряд текучих перемен, поток сгущений и преображений, череда льющихся созвучий, и именно они, созвучия, а не законченные образы хороших форм, в дни грандиознейшего созидания ласкали уши Бога. Да и вообще – нелепо будет не признать, что Царствие Небесное с его многоголосым хором поющих ангелов всё-таки больше напоминает не вернисаж, а филармонию.

Ну вот, а изгнанный из рая человек (впрочем, наоборот, это рай был изгнан, осквернён, потерян, поскольку рай – это и есть земля, из которой вычтен ад) в первую очередь накрепко оглох в пределах того диапазона, в котором звучит первозданная музыка сфер – сложная тема упорядоченного космоса вкупе со всякой его соразмерной, верно настроенной частью. Более надёжного способа лишить человека благодати трудно вообразить – ведь если ты слышишь отзвуки тех аккордов, слышишь симфонию вселенского порядка, ты не можешь ошибиться, выпасть из тональности и заскрежетать. Следовательно и законы, писанные на скрижалях, излишни – ведь у тебя просто не получится вершить дела, рассогласованные с гармоничным строем окружающего мира, потому что чудовищная фальшь тут же разорвёт твоё сердце. А если не разорвёт, то тебя всё равно выпрут из оркестра, поскольку фальшь твоя будет распознана сразу и всеми: перестань пялиться в декольте флейтистки – там нет нот, твоя партия на пюпитре!

Но человек постоянно скрежещет, и ни ему, ни окружающим по большей части этого не слышно. То есть слышно, но не режет ухо так, чтобы резь эту счесть невыносимой: ничего страшного, просто безголосый сосед снова практикует караоке – противно, но не до смерти, ведь и мой скрежет он терпит, как визжащее в стене сверло. Далеко за примерами ходить не надо – сегодняшний случай в кафе.

Короче, имею веские мотивы, чтобы толковать истинное бытие не как незримое, а как неслышимое.

Впрочем, по порядку.

* * *

– Мама, смотри, – я увлечён рождением неожиданного благозвучия. – Вот так – мерцает и поблескивает. А так – неярко, мягко. Словно сперва стоишь на солнце, а после – в тень.

Мне пять лет. Я сижу на стуле с четырёхструнной домрой-альтом и извлекаю звоны. Рядом мама вытирает тряпкой клеёнку стола после завтрака – папа накрошил хлеб, а сестра уронила с ложки небольшой сугроб рисовой каши.

– Правильно, – говорит мама. – Вот это – большая терция, мажорная. А это – малая, минорная.

Я вновь тревожу струны слишком ещё большого для моих рук инструмента. Звук интересный – внутри тела отдаётся какой-то бархатистой лаской, словно поглаживает и промывает внутренности, всю подчистую анатомию, о которой толком знать ещё не знаю.

Мама откладывает тряпку.

– Теперь добавь вот эту ноту… Палец вот сюда, на этот лад, – показывает – куда. – Или вот так. Получится аккорд.

Распялив пальцы, извлекаю глухое трезвучие, которое со второй попытки выправляется и звенит чисто.

– Видишь, – говорит мама, – это аккорд весёлый, звонкий. А этот, – ставит мой палец в новую позицию, – задумчивый и немного грустный.

– Домашнее животное, родственник верблюда, разводимое в высокогорном поясе Южной Америки ради шерсти, – говорит папа, глядя в раскрытый журнал, и чешет безопасным концом авторучки затылок. – Семь букв. Четвёртая – «пэ».

На некоторое время в комнате повисает тишина, которую, не дав ей сгуститься, нарушает мажорное трезвучие.

– Альпака, – говорит папа, пишет что-то на странице журнала и смотрит на меня. – Знаешь, кто такая альпака?

Разумеется, не знаю. Папа объясняет. Одарённый подробными сведениями, пытаюсь выдать на струне тремоло, как делает это мама, но получается скверно.

Мама вновь берёт тряпку, протирает стол и уходит на кухню.

– Производная тригонометрическая функция, – говорит папа. – Девять букв. Вторая – «о».

В этот момент сзади подкрадывается сестра и двумя руками быстро крутит колки на грифе, мигом расстраивая инструмент. Ей весело, она смеётся.

Мне посчастливилось родиться в семье мирной и трудолюбивой: отец – экономист на Адмиралтейских верфях, мать – преподаватель музыкального училища по классу домры. Я был у них вторым ребёнком. Дети эгоистичны – и маленьким трудно. Но старшей сестре, страдавшей приступами мелочной вредности, не удалось надолго отравить моё детство: к великой досаде Клавдии (так звали сестру) я довольно скоро получил иммунитет к её злонравию, так что, не выдавив при всём усердии из жертвы капли сладкого негодования, она спешила оставить скучного брата в покое, чтобы скорее переключиться на какой-нибудь иной, более благодарный объект.

Да, сразу не сказал: родители назвали меня Августом – отца пленяло багровое сверкание былого Рима (предмета нет уже, а гипнотическое излучение осталось, – так, говорят, бывает с умершими звёздами), а мать этой страсти не препятствовала.

И снова о сестре – один пример, показывающий, что её хватало на большее, чем злодейский толчок под локоть в момент, когда я самозабвенно рисовал бой с фашистами или старательно выводил в тетради упражнение домашнего задания. Помню, в детстве у меня была игрушка – небольшой, размером с белку, волк из покладистого материала, который теперь отчего-то хочется назвать упругим словом «гуттаперча», хотя за соответствие названия и означаемого не поручусь. Спина у волка была серой, брюхо – белым, нос – чёрным, а пасть – алой, воспалённой, отчего я не раз тайком потчевал его микстурой, которую прописывали мне врачи при ежегодных ангинах. В моей памяти не сохранилось, но родители рассказывали, что в пору, когда у меня резались зубы, я обкусал волку хвост и ухо. Благородный зверь стерпел, простил хозяину увечья, – эта преданность вкупе с лёгким стыдом перед верным другом многие годы питала во мне нежную любовь к волчку. Стоит ли говорить, что эта игрушка была главным предметом посягательств Клавдии, когда её настигал очередной припадок вредности? Она тайком похищала волка и изобретательно прятала, с невозмутимым видом отрицая причастность к трагической (сдержать слёзы обиды удавалось не всегда) пропаже, но я не жаловался родителям, а отправлялся на поиски, упорствовал и находил. В конце концов я вообще перестал выпускать волка из рук. Тогда сестра хитрила – являлась предо мной с какой-нибудь коробкой, застеленной перинкой из её кукольного царства, и предлагала: «Август, положи сюда, пускай волчок поспит». Понимала, бестия, что в руки ей игрушку просто так уже не отдадут! Я с чистым сердцем укладывал серого в коробку под атласное одеяльце, и плутовка Клавдия немедленно с ней исчезала. Таких уловок у сестры оказывалось всякий раз в запасе с горкой – она была мастерица на многоходовые операции и отвлекающие манёвры, коварную суть которых мой детский ум был распознать не в силах.

Пример описан столь подробно потому, что в нём, как в капле, предстаёт и океан.

Уроки сестры не прошли даром – с той поры я старался уже не прикипать душой к вещам, что позволяло оставаться до известной степени неуязвимым. Если кому-то удавалось поживиться за мой счёт, будь то уличная цыганка, продавец

пёстро упакованной дряни или плут-работодатель, обман вызывал небольшую досаду и только – ни о душевной боли, ни о каких-либо сильных чувствах вообще говорить уже не приходилось. Так – рябь на отмели. Спасибо тебе, милая Клавдия!

Помимо проделок сестры, призванных во что бы то ни стало досадить, детство моё разнообразили терпеливые усилия матери по прививке сыну музыкальной культуры и навыков игры на домре, а также деятельные попытки отца развить во мне интерес к познанию мира в предельно широком охвате. Труды их не пропали втуне: нотная грамота, техника звукоизвлечения и беглость пальцев левой руки, натренированных на грифе домры (врачи, охочие до детской крови, не могли взять на анализ ни капли из этих пальцев: прокалывали огрубевшую подушечку, а кровь не шла – жало инструмента не доходило до сосудов), вскоре пригодились для освоения гитары, а тома альманахов «Хочу всё знать!» вкупе со стопками журналов «Наука и жизнь», «Юный натуралист», «Знание – сила», etc. и впрямь предоставили мне немалый материал для удивления и восторга. Так в одном из журналов я вычитал, что муравей способен узнавать себя в зеркале и, глядя на своё отражение, прихорашиваться (рыжему муравью, рядовому фуражиру, ставили на голове краской крошечную точку, на которую тот не обращал внимания в будничных трудах, но, очутившись перед зеркалом, принимался отскребать пятно лапками), что говорит о наличии у муравья известного самосознания. Ведь до тех пор считалось, что, помимо людей, узнают в отражении себя лишь человекообразные обезьяны и сороки. Бедные муравьи моего детства! Полтора месяца я преследовал их с зеркальцем в руке, пытаясь повторить хитроумный опыт. Подозреваю – капля за каплей – я утопил в краске население небольшого муравейника.

Чуть позже меня поразила более долговременная страсть – я заболел дельфинами, как иные сверстники болели филателией, хоккеем или судомоделированием. Я собирал любые сведения о дельфинах, которые только мог раздобыть. Мне был смешон человек, способный перепутать этих смышлёных животных с глупой рыбой. В четвёртом классе отец с матерью восемь раз попеременно ходили со мной в кинотеатр смотреть «Флиппера». Три лета подряд родители возили нас с сестрой в Севастополь только потому, что там, в Казачьей бухте, располагался секретный военный океанариум с несколькими десятками поставленных на довольствие афалин – друг детства отца пошёл по жизни маршем и занимал на Черноморском флоте какой-то важный пост. Тогда я об этом не думал, а теперь не перестаю удивляться, в какой чудесной стране мы живём – в лице хранителей своих загадок она считала и, надеюсь, до сих пор считает чем-то вроде свинства и низости иметь тайны от

детей. Особенно, если на секретный объект ребёнка приводил за руку этих хранителей начальник. С той поры я очарован Крымом – оазисом невероятного. Деревья там поют и шелестят рифмами, травы знают молитвы и рассчитывают на спасение, камни обидчивы и злопамятны, а вода течёт как вниз, так и, вопреки законам естества, духоподъёмно – вверх. Случаются там чудеса и с отвлечёнными понятиями – так вычитание здесь часто ничего не уменьшает, умножение не умножает, а попытка деления заканчивается забвением и сном. Проверено – родители и на каникулах пытались иной раз подсунуть мне какой-нибудь учебник.

Разумеется, меня было не вытянуть из океанариума за уши – кто же откажется собственноручно покормить дельфина рыбой, погладить по влажной коже, улыбнуться его улыбке, в упор смотреть в его весёлые глаза и даже плавать с ним, взбираясь на тугую спину, – нет и не может быть в одиннадцатилетнем возрасте таких посредственностей и недоумков. А ведь эти добродушные звери нашли за время службы десятки потерянных при учебных стрельбах торпед и даже одну сбежавшую беспилотную субмарину. Иногда боевых дельфинов, на радость археологам, привлекали к поискам останков затонувших кораблей – несколько поднятых со дня моря амфор (то ли утаённых от учёных, то ли ими подаренных) украшали скупой интерьер секретного океанариума.

Дошло до того, что я стал составлять словарь дельфиньего языка и сам уже свистел на нём, щебетал, щёлкал и крякал, призывая не понимающих меня родителей и школьных товарищей оказать мне глубоководную помощь, извещая их об опасности или о том, что найдена прекрасная рыбёшка. Питомцы же Казачьей бухты мне внимали и отвечали бурной трескотнёй. Разумеется, не все слова дельфинов были мной осмыслены и переведены на язык Чуковского и Носова: порой они издавали не вполне определённые поквакивающие звуки, а одна афалина, выбираясь из воды на гладкую площадку-пирс, начинала словно бы дудеть в детскую дудку и мяукать.

Наставник – инструктор по патрулированию акватории и обезвреживанию диверсантов – поведал мне однажды душераздирающую вещь: во время вьетнамской войны американцы использовали дельфинов в качестве убийц аквалангистов, пытавшихся подкрасться к их кораблям на морской базе. На голове дельфина крепился ядовитый шприц, и любопытный зверь, обнаружив пловца, устремлялся к нему в радостном предвкушении, чтобы потыкать носом – так его учили выпрашивать рыбу, – в итоге невольно всаживая в человека убийственное жало. После этого рассказа я возненавидел злых американцев,

лжецов и растлителей дельфиньих душ, всей силой детского сердца. Так и жил, ожесточённый, пока не взялся за книги и не узнал, что и среди этих пройдох изредка встречаются славные ребята, вроде Мелвилла, отдавшего заслуженную дань китообразным, и Хемингуэя, здорово завернувшего историю со стариком и рыбой.

Тот же инструктор поведал мне в утешение, что наши дельфины, в отличие от заокеанских, не убивали людей, а, обнаружив с помощью своего сонара диверсанта, настигали его, срывали ласты с маской и выталкивали на поверхность. Этого было вполне достаточно – дальше в дело вступал быстроходный катер со спецназом. Конечно, инструктор признавался, что пробовали, и не раз, вооружать дельфинов ножами, иглами с парализующими веществами и даже пистолетами, крепившимися на морду и срабатывающими при ударе, но выяснилось, что советские дельфины – создания чрезвычайно впечатлительные и после атаки, приводящей к смерти товарища по, как им казалось, играм, подчас испытывают такую душевную травму, что выходят из-под контроля и уже не подчиняются приказам. Совсем не то что морские львы или тюлени – эти, говорил инструктор, резали диверсантов безо всяких угрызений совести. Но до кровожадных тюленей мне не было дела.

Зато упомянутый природный сонар – способность дельфинов к эхолокации – вызывал безоговорочный восторг. По своим параметрам он многократно превосходил любые технические выдумки людей по этой части. Но удивляло не то, что дельфины способны были лоцировать дробинку, упавшую в воду на расстоянии пятнадцати метров, а пловца – за пятьсот, оценивать размеры предметов одинаковой формы, отличающиеся на единицы процентов, определять параметры и детали внутреннего устройства объектов даже под слоем ила (ведь эхо вездесуще), обнаруживать съедобную рыбу на расстоянии трёх километров и не путать её с той, что не подходит в пищу, – моё детское воображение поразило другое: способность, оглашая мир, воссоздавать его посредством звука.

Как сообщали статьи в журналах, которые выписывал отец, дельфины не отличаются особой остротой зрения: глаза их расставлены таким образом, что по большей части они видят окружающее только одним из них – лишь в узком секторе обзора афалина может глядеть в оба, бинокулярно. Так что зрение китообразных, предки которых миллионы лет назад окончательно отдали предпочтение пучине, играет для них лишь вспомогательную роль. На первое место выходит эхолокация – активная подсветка криками пространства с

последующим приёмом отражённых звуков. В предмет своей детской любви я стремился проникнуть на всю глубину, поэтому, проявив упорство, разобрался и осознал, как этот орган чувств, у нас отсутствующий, работает на деле.

Мне было трудно вообразить, как можно жить в беспросветном мире, доверяясь только слуху. Однако сотрудники секретного океанариума объяснили, что их питомцы в полном смысле видят слухом. Если коротко: наш мозг обрабатывает электромагнитные импульсы и сортирует информацию на основе законов геометрической оптики, а дельфиний обрабатывает импульсы звуковые, осуществляя их анализ на основе законов акустической голографии, потому и отделы мозга, отвечающие за слух, развиты у китообразных необычайно и увеличены против наших в десятки раз. Опустим сведения о воздушных мешках, костяном рефлекторе во лбу, акустической линзе – мелоне и прочей дельфиньей органике, позволяющей рассеивать внешнюю тьму и ловить рыбу в мутной воде. Существенно лишь то, что на выходе комплекс этих органов даёт дельфину картинку, подобную той, какую нам позволяет получить прожектор, выхватывающий своим лучом пространство из мрака. Только куда более содержательную, поскольку дельфиний мозг кодирует полученные данные в виде четырёхмерных образов (три пространственных и один частотный), в результате чего дельфин видит поверхность воды, объекты в её толще, дно со всеми деталями строения, предметы, лежащие на дне (даже те, что, как уже говорилось, покрыты илом), отмечает особенности каждого предмета – его размеры, форму, – а кроме того, подобно рентгену, видит материал и своеобразие их внутреннего строения. В Казачьей бухте на моих глазах проводили опыты – брали две похожие болванки, показывали дельфинам, и при некоторой тренировке они отличали одну от другой по любому параметру: по величине, по виду, по материалу, по наличию внутренних пустот, по величине и виду этих пустот. В общем, если что-то дельфина интересовало, он был способен вонзить в вещь своё невероятное акустическое зрение, которое не впадало в зависимость от внешних условий – освещение, прозрачность, – и познать её до печёнки, до само?й тайны рождения. Чудо что такое!

Однажды в одном из журналов я наткнулся на статью некоего Джека Кассевица, работавшего в мексиканском дельфинарии в Пуэрто-Авентурас, который, зная о способности дельфинов преобразовывать звук в объемные изображения, предположил, что между собой дельфины общаются не так, как люди, а звуко-визуально, языком картинок – просто нащёлкивают, насвистывают, наскрипывают и накрякивают друг другу череду образов, обмениваясь ими, как люди обмениваются котиками и салатиками в соцсетях. Прочитав эту статью, я забросил свой дельфиний словарь – бесполезно: у человека в голове просто нет

приёмника, чтобы полноценно увидеть их живописную речь.

Забавно. Годы спустя, вспомнив о своём детском увлечении, я вообразил следующее: если люди, по преимуществу познающие мир глазами, перед всеми искусствами отдают предпочтение кинематографу, то для дельфинов – научи их какие-нибудь нырнувшие ангелы, как допотопных людей научили ангелы падшие, всяким пакостям, включая ремёсла и художества, – для дельфинов самым важнейшим из искусств стала бы ультрамузыка. Причём это было бы весьма предметное искусство, поскольку каждый набор звуков представлял бы здесь конкретный объект – ракушку, косяк кефали, медузу, «Титаник», – и степень свободы была бы тут ничуть не большей, чем в академической живописи или поэзии, которая на своём столбовом пути не может всё же обойтись без точных слов. И с импровизацией возникли бы проблемы – в этой музыке она была бы возможна не более чем абстракция на киноплёнке. Отснимешь полный метр – кто будет смотреть?

Постепенно интерес к природной эхолокации затмил интерес к дельфинам как таковым. Поэтому ничего удивительного, что и летучим мышам досталась часть моего детского внимания (только дети в своём любопытстве умеют быть так радостно сосредоточенными), пусть и в порядке, не соответствующем поступи науки – ведь этими живыми радарами люди заинтересовались на полтора столетия раньше, чем дельфинами. Шарль Журин, поражённый способностью рукокрылых свободно передвигаться в темноте, ещё в конце XVIII столетия определил: летучие мыши теряют ориентацию в пространстве вовсе не тогда, когда лишаются зрения, а тогда, когда лишаются слуха. Следом Лазарь Спалланцани, поборник чистоты научного эксперимента, доказал, что причиной утраты нетопырями этих способностей после того, как Шарль Журин лишал их слуха, является не механическое повреждение или болевое раздражение, а именно глухота. Он был довольно ловок, этот итальянец, – смастерил маленькие трубочки, вставил их в ушные каналы подопытных мышей и выяснил, что с ними они летают вполне нормально, но стоит залить трубочки воском, как малышки становятся совершенно беспомощными.

Про ультразвук тогда не слыхивали слыхом, и открытие Спалланцани было осмеяно – непререкаемый авторитет науки тех времён Жорж Кювье, обласканный Наполеоном, настаивал на том, что летучие мыши имеют специальный орган осязания в перепонке крыла, благодаря которому реагируют на сгущение воздуха между собственным телом и встречным предметом, предощущая препятствие и добычу в темноте на расстоянии. Эта теория

главенствовала в учёных умах до тех пор, пока накануне Первой мировой инженер, естествоиспытатель и конструктор станкового пулемёта Хайрем Максим не высказал предположение, что летучие мыши овладели эхолокацией. Впрочем, для научного обоснования этой догадки потребовалась ещё четверть века.

Вообще рукокрылые – эволюционирующая группа. О том, что ниша воздушных равнин ещё плохо освоена млекопитающими, говорит тот факт, что там пищат летучие мыши, но их не когтят летучие кошки. И в мелочах… Скажем, мыши-подковоносы кидаются за брошенными в воздух камнем или скомканной тряпицей как за добычей, но, настигнув, оставляют обманку. Это свидетельствует, что они преследуют летающий вздор чисто рефлекторно, не имея о нём ясного представления. Стало быть, до способностей дельфинов им ещё далеко. Но как ни сравнивай возможности воздушных крикунов и водяных, способ считывания реальности у них один и тот же: не имея возможности обзавестись в темноте источником света, они обзавелись источником звука, благодаря которому перед ними открылся оглашаемый мир – мир, вернувший им свои контуры посредством отклика. В схожих обстоятельствах человек, как уже сказано, использует фонарь/ прожектор (неспроста немецкая фирма, выпускавшая ветрозащитные керосиновые лампы, называлась «Fledermaus» – «Летучая мышь»): фонарь излучает свет и дарует нам озаряемый мир – мир, вернувший отсвет и ставший видимым.

Потом, вслед за летучими мышами, пришла очередь ночных бабочек-совок, способных благодаря эхолокационным щелчкам к стремительному полёту среди густой растительности в полной темноте… После чего во внезапно наступившей юности все эти детские увлечения из моей жизни вымели метлой любовь и музыка. То, что я музыкой по той поре считал.

* * *

С любовью в общих очертаниях всё ясно (хотя на этом веретене накручено столько словесной пряжи, что попробуй размотать – за сто лет не сладишь) – этот опыт практически у всех довольно схож, как опыт первой рюмки или возрастной опыт стыдной, но неодолимой тяги к непристойным картинкам, – разница в деталях. Нет ничего важнее любви, пока вулкан её гремит и извергает огненную лаву, и нет ничего обыденнее и преснее, когда её вулкан потух. Потух, и лава в его недрах скисла. Так происходит в каждой отдельно взятой

головокружительной истории (конечно, в их ряду есть главные, опорные или сокрушительные для жизни, и есть пустяшные, не вызвавшие трещин, не давшие корней), точно так же обстоят дела и в их, этих историй, обобщающем итоге. Ювенильные влюблённости – лишь робкое предчувствие грядущего фонтана раскалённой магмы, невинные грёзы о чём-то манящем и страшном, своего рода детские рисунки непознанного ужаса: рисуют мальчики войну. А когда прорвало… детство развоплощается, карета оборачивается тыквой, царевна – лягушкой, братец – козлёночком. После чего начинается суетная и довольно неприглядная в своей нечистоплотной одержимости юность со всеми этими бесстыдно или стыдливо любопытными Ритами, Ленами, Светами, Галями и Василисами, – юность, полная сомнительных обретений, отчаянных предательств и горьких потерь, юность, воспеваемая лишь слащавыми стариками или корыстными проходимцами. Это время, полное оглушительных фоновых шумов: своей мелодии не разобрать, хоть тресни, а хочется – поэтому все кажутся твоими. Это время, когда каждому представляется, что он особенный. Единственный, непревзойдённый, исключительный. Но стоит приглядеться, и оказывается, что первый (а следом и второй, и третий) встречный тоже даёт тебе понять, что он особенный. И, чтобы не впасть в мизантропию, приходится признать, что все вокруг особенные. А если это так, если все вокруг особенные – это всё равно, что все одинаковые. В таких обстоятельствах довольно трудно предъявить свою самобытность, поскольку она вынужденно впадает в сон от необходимости выслушивать откровения соседних самобытностей. Форменный кошмар. Все одинаковые, и у всех в голове только любовь – такое время.

Для женщин, конечно, сказанного будет недостаточно. Женщины живут и грезят отношениями. В широком смысле отношениями: любит – не любит, обманул – не солгал, пошутил – обидел и тысячами других нюансов, включая взгляды, приветствия, прикосновения, улыбки, интонации, запаздывающее или своевременное внимание/комплимент. Они преисполнены переживаний по поводу слов, сказанных за их спиной, по поводу недостатка жара в зрачках, скользит ли взгляд смотрящего по жемчугам или по прелестям под блузкой, по случаю малейших колебаний чувств близких или вовсе посторонних относительно их микровселенной, – ими, этими переживаниями, у женщин забита без остатка их мелькающая жизнь. И в головах у них от перегрузки случаются нечаянные вихри, протуберанцы и слепящие грибы, сжигающие всё, что им не мило. Столь же высок – не заметить совпадений невозможно – статус отношений в среде подростков и секс-меньшинств. Безусловно, это что-то значит, но тут я не специалист.

Теперь – музыка. В те времена самый чудесный город на земле был в очередной раз отмечен персональным вниманием небес. В него ударил пучок незримых молний, твердь дрогнула, и повсеместно – от Васильевского и Петроградской до Средней Рогатки и дикого Купчина – забили источники неудержимо взвившихся энергий. Распылённым ядом был напитан сам невский воздух, он отравлял людей, и они галлюцинировали, обнаружив себя искажёнными в искажённом пространстве, – тогда не быть музыкантом, поэтом, художником значило то же, что не быть вовсе. Не быть по самому высшему требованию небытия. Как в греческом городишке-государстве неотменяемой обязанностью гражданина было участие в общей жизни, так Ленинград тех лет требовал от своих подданных безумств и небывалых творческих свершений. Тот, кто упрямствовал, тот, безусловно, – идиот (в эллинском, конечно, смысле слова). Но главным содержанием жизни всё же оставалась музыка. Она, собственно, и была жизнью.

Зачарованный пир продолжался недолго. Вскоре время весёлых и дерзких нестяжателей было погребено под обломками их страны, а потом выметено вместе с сором новой генерацией алчущих деляг. Не то чтобы в той стране все были весёлыми и дерзкими, а в следующей, межеумочной – посредственностями и делягами, но нестяжание в этой, межеумочной, определённо перестало считаться доблестью и сделалось объектом злых насмешек.

Странные чувства испытываешь, вспоминая себя того. Странные. И дело не только в перенастраивающих голову и подчиняющих волю гормонах… Тот, молодой, весёлый и дерзкий, – какое-то заколдованное существо, знакомое и вместе с тем совсем чужое. Гораздо более чужое, чем мальчик, щебечущий самозабвенно по-дельфиньи.

Вот так, с любовью и музыкой в образе путеводных звёзд, я, юный Август, и пустился в путь по дремучим зарослям большого мира, который с порога детства и вправду грезился пугающе великим. Здесь, перед дверью, обернувшись и посмотрев назад, пожалуй, можно рассыпать на прощание горсть справедливой благодарности.

Выходит, что семья наилучшим образом способствовала моему развитию в том направлении, которое, как выяснилось позже, обеспечило пробуждение дремлющих способностей. Даже маленькое чудовище Клавдия имела тут вполне определённые заслуги, поскольку на примере её вреднейшего характера, её вечно обманывающих речей я осознал, что именно – при всём различии – объединяет человека с дельфином и нетопырём. Последние криком оглашают

мир, и тот является им во всех деталях, однако крик их должен повторяться вновь и вновь – иначе действительность развоплотится. Исключение в этой необычайной практике миропознания – присутствие собрата, поскольку только он, собрат, собственным кличем заявляет о себе не отзвуком, а напрямую: ау, я здесь! Зрачку человека мир открывается сам, зачастую желание открыть мир опережая, что позволяет нам в быту обходиться без эхолокации и чувствовать себя при этом сносно. Однако и у человека, как у дельфина с рукокрылой мышью, есть одна насущная потребность – он тоже стремится известить мир о своём существовании, всучить, что ли, ему свою визитку. Потребность эта столь сильна, неодолима, рефлексивна, что заставляет раз за разом настойчиво взывать в пространство: вот я, пришёл, такой чудесный и неповторимый, я здесь – примите же меня, примите все, кто только есть вокруг, впустите в своё чувствилище, вы слышите, впустите, хоть кто-то пусть подаст мне знак, что я услышан! По этому сигналу дельфины узнают собрата. Так же заявляет о себе и человек. Персональная мелодия его души неотменяема, по ней душа опознаётся столь же точно, как по узору пальца – тело. Подтверждение того, что ты услышан, что твой личный росчерк принят и опознан, несёт в себе такое наслаждение, какое мало с чем сравнится.

И вот душа поёт: я здесь, послушайте меня! – поёт и жаждет быть услышанной если не самым желанным слушателем, то хоть кем-то – первым встречным. Но все так заняты, поглощены делами, заткнули головы наушниками и слушают другую музыку или, как на току тетерева, увлечены собственным мотивом бытия. Ничего не попишешь – нехватка внимающих ушей едва ли не самая досадная в нашем общежитии червинка: поющих свои немудрёные песенки душ куда больше тех, что настроены на их приём и опознание. Так есть, увы. А ведь трагедия неуслышанности таит в себе столь сильное отчаяние, что жажда известия о принятом позывном, о том, что мелодия твоей души услышана, отливается не просто в побуждение – в сокрушительную пулю, по сравнению с которой неустроенность, муки голода, а иной раз и страх смерти кажутся чепухой, пушинкой, вздором.

(Сказал о позывном и понял: точно, позывной, как там, на Донбассе, на той войне, чертей, героев и богов которой запомнят не по именам, а именно по позывным. Бродяга, Фрейд, Мангуст, Чих-Пых, Омлет, Гиви, Моторола… Я был там. Мой позывной – Алтай. Об этом речь ещё пойдёт.)

Человек говорит, но, говоря, оглашает не мир сущего, а себя в нём – в мелодике слов, в обёртке речи упаковано его «я». И хотя человек всякий раз упрямо

пытается внушить окружающим, будто он не просто говорит, а говорит что-то вполне определённое, едва ли не для каждой частной ситуации обстоятельство я говорю куда важнее говоримого мною. Это и есть индивидуальное оповещение, тонированный строй звуков, за которыми нет ни словаря, ни прочих признаков знакомого нам языка – значение этих звуков равно значению их в музыке, это позывной: вот я, и это именно я, а не кто-то другой, пожалуйста, не спутайте меня с иными. Тут стоит вспомнить Мусоргского – он часто был настроен на приём и внятную мелодию чужой души стремился положить на ноты. В усадьбе и окрестных деревнях он слушал говоры крестьян, делал заметки по интонированию и произношению определённых слов и до того увлёкся, что в итоге просодия стала инструментом его музыки, определяя её метрику, акцентировку и агогику. Причём не только в вокальных сочинениях, хотя по преимуществу Модест Петрович, разумеется, вокальный композитор. В «Картинках с выставки» – инструментальном цикле – есть тема «Променад», сквозная тема, в которой метр столь переменчив, будто он следует уже не принятым аналитическим конвенциям, а силлабической природе музыкально организованных звуков, воспринятых как высказывание речевое. Учитывая это, претензия Мусоргского к Вагнеру вовсе не выглядит комичной: мол, у Вагнера в музыкальных драмах декламация нерусская. Уместность подобного упрёка композитору, взыскующему истинного германства, конечно, спорна, но выпад Мусоргского обусловлен тем, что исток его вдохновения – именно музыкальность повседневной русской речи. А тут – чужой, настойчивый и – чу! – враждебный позывной.

Словом, выслушать человека, утолив его отчаяние и страх оказаться не принятой, брошенной в урну визиткой, можно, даже если пропускать мимо ушей смысловое содержание его речи. Скажем (как в моём случае с сестрой, когда однажды, повзрослев, я с удивлением её услышал), идёт рассказ об отдыхе в Таиланде – секреты приготовления креветок в тамариндовом соусе и кальмара в кляре, сведения об ухажёре из Армавира, у которого из носа смешно торчат два волоска, и соседке по бунгало из Иркутска, перенёсшей в тридцать свинку. Рассказ идёт, сыплются все эти ненужные подробности, и надо просто отдаться музыке – слушать тоны, тембры и перекаты звуков, ритм внутреннего дыхания, токи холодного огня, которые и составляют мелодию души. Вот нота оповещения (ау! я здесь!), вот грусть воспоминания, вот всплеск отчаяния (вам три минуты жалко на меня!), вот робкая надежда, вот накат волны радостного возбуждения, вот откат её, вот обертон иронии, вот опасение оказаться недопонятой, вот жар благодарности за то, что – да! о счастье! – наконец услышана… Словом, определённая последовательность частей складывается в своеобразную музыкальную тему, и это не тема какого-то повествовательного

рассказа, а тема чьего-то уникального присутствия в глухом к этой драгоценной мелодии мире. Вот и сестра, после того, как я её услышал, закончила песенку своей души высказанной лишь в интонированных звуках, не связанных с произносимой речью, благодарностью: ты знаешь, мне не был нужен, никогда не был нужен твой серенький волчок, я просто боялась, что меня не заметят, понимаешь? – просто не заметят: ты есть, а тебя, такую замечательную, в упор не слышат и не принимают к сердцу…

Понимаю, сестрёнка, и слышу тебя.

Действие второе. Musica ficta

– Нас же четверо, – удивился Ванчик, глядя, как Михей кладёт на барабан очищенный и разломленный надвое мандарин.

– Вот эту половину я съем прямо сейчас, – объяснил Михей, сгребая с побитого пластика рабочей поверхности оранжевую шкурку, – а другую – чуть позже.

– Еду вчера в трамвае, – прищурил в сторону Михея близорукие глаза толстый клавишник Щека, – гляжу – ты идёшь. С беленькой такой. Забавная.

Михей расплылся в лучезарной улыбке и легкомысленно махнул рукой.

– Дохлое дело. Я говорю на трёх языках, но не могу найти слов, чтобы описать наши отношения. Они обречены. Они безнадёжны.

– Характер никуда? – Ванчик подкручивал колок бас-гитары в поисках «ми», которую вытягивал из «Ионики» Щека. – Метр двадцать на метр двадцать, ножка хромает, глазик косит?

– Характер подходящий. – Михей, как и обещал, сунул в рот сочную половинку и подхватил с пола наплечную сумку. – Девяношто, шешдешат, девяношто.

– Так что? – «Ми» Ванчик благополучно отыскал.

Михей неторопливо разжевал и наполовину проглотил, наполовину выпил мандарин.

– Обнимаю её, говорю: «Ты мне нравишься, я хочу от тебя детей и внуков». Боевую нежность применяю, а она даже наушники с ушей не сбросит. Снежная королева.

– Холодец, – согласился Ванчик.

– Брестская крепость, – поправил Михей, вываливая из сумки на «Ионику» россыпь оранжевых шаров. – Налетай.

– А в наушниках что? – полюбопытствовал Щека. – Девятая симфония Чайковского?

Мандарины, падая на клавиши, сыграли диссонансный взвизг.

– Чайковский – глыба, – вступился я за классика. – Жаль, что он написал только семь симфоний.

Когда школьные товарищи в попытке причаститься святых даров ревущего фуззом времени только брали свои первые баррэ, стыдясь то глухоты, то дребезга их звучания, я уже освоил прогрессивную аппликатуру. Да и пальцы, натасканные на домре, то и дело готовы были сорваться – и срывались – в стремительные пробежки по порожистому грифу, так что гитара моя (подарок отца, положивший начало длительному перемирию в пору неизбежных подростковых бунтов), окрашенная щедрыми созвучиями, пела как сирена – рассыпчато-звонко, упруго, призывно. Словом, вот так, без приглашения, в компании таких же самоучек, в последний школьный год я устремился в горнило рока (в антично-трагедийном смысле тоже), пожирающее и испепеляющее, но тогда казавшееся царством чарующей свободы и бесконечного праздника.

В радиорубке школы пылилась немудрёная аппаратура, приобретённая для нужд самодеятельности, – два-три усилителя, колонки, микрофоны. На этой рухляди и репетировала наша банда – трижды в неделю вечерами в рекреации второго этажа: гитара, клавиши (нет слов, чтобы описать своеобразный звук

свистелки, проходившей по инвентарной ведомости как электрический многоголосый клавишный инструмент «Ионика») и ритм-секция – ударные и бас. Всё вместе называлось механическим, но упругим, будто подскакивающий мячик, словом «Депо». Без всякого символизма – просто надо же было как-то назваться.

С Михеем мы были друзьями. Жили по соседству, вместе набивали синяки в дворовых драках, знакомились с хорошенькими гимназистками и грезили грёзами юности. Время от времени Михей из озорного любопытства промышлял фарцовкой – отсюда знание трёх языков: родного, купеческого английского (чейнч) и немного турмалайского (пурукуми ё?). Он был весёлым и неунывающим, с ним рядом делалось легко. Стучал, правда, по барабанам так себе, – но дружба перевешивала.

– В человеке есть пробелы и пустоты, – сказал он мне однажды таким тоном, каким извещают о недавно обретённой истине.

Мы с ним сидели в очереди к стоматологу. Михею надо было ставить пломбу, мой долг заключался в том, чтобы быть рядом и воодушевлять.

Я уточнил:

– Как в решете? Или в дырявом зубе?

Усилие мысли прочертило складочку между его бровей.

– Нет. Это такой особенный дефект конструкции, невидный, незаметный глазу. Он жизнь нашу делает забавной.

– Ты говоришь, что человек несовершенен и этим интересен?

– В общем, да.

Подобные глубины мысли в те годы никого не удивляли.

Мы были юны, доверчивы и беззащитны перед подувшими над задремавшим во льдах материализма отечеством эзотерическими веяниями, которые на все лады

сулили за туманами своих доктрин дорогу к просветлению. Многие тогда получили воспаление рассудка.

– Понимаешь, – дыхание Михея коснулось моего лица, – будь человек полон, как стеклянный колобок, он был бы завершён, достаточен. А так у нас есть счастье дружбы и общения.

Машинально подавшись назад, я восстановил область приватности.

– Стеклянный колобок, – сказал я, представляя при этом в мыслях вовсе не стеклянный, а бильярдный шар, тоже гладкий, без изъянов.

– Да! – Михей радостно оживился и кивнул. – Будь мы тверды, круглы и монолитны, не будь в нас впадин и пустот, мы перестали бы нуждаться друг в друге, встречаться, разговаривать. Мне было бы некуда тебя вместить!

Невольно пришёл на память древний грек – тот самый, что рассказал и про пещеру. Устами своего героя, известного комедиографа, он утверждал, что любовь – это полное совпадение вмятин угнетенного своим несовершенством существа с буграми избранницы и наоборот.

– Но может статься, – предостерёг я, – пустоты эти углядит голодный дух. Целая свора голодных духов. И они войдут в тебя, как данайцы в Трою.

– И что? – Уголёк притух в бледных, точно голубоватый прах, глазах Михея.

– Ничего. Ворвутся и понесут по кочкам. И – хана.

Михей страдальчески погладил щёку, за которой ждал экзекуции дырявый зуб. Однако, помимо грядущей нервотрёпки с зубом, бояться ему было нечего – в лакуне его щербатого колобка надёжно стояла пломба дружбы. Ведь наши близкие, наши друзья и в самом деле одаривают нас тем, в чём мы испытываем недостаток – в этом суть привязанности.

– Не дрейфь, – ободрил я взгрустнувшего Михея. – Голодные духи – это крайний случай. Обычно пустоты заполняет телевизор, водка, Харе Кришна, здоровый образ жизни или тяжёлый металл.

Над дверью кабинета загорелась лампочка, и мой товарищ со вздохом встал со стула.

Михей был преисполнен подкупающего простодушия и непосредственности, нехватку которых мне часто доводилось ощущать в себе. При этом мнил себя хитрецом – его наивное лукавство иной раз приводило в умиление. Из любой ерунды он мог сделать праздник. Он был отважен, энергичен, щедр и в дружеском кругу до щепетильности честен. Он умел построить разговор и потушить в зародыше конфликт. Разумеется, как в каждом человеке, хватало в нём и всяческой нелепости. Скажем, он был отчаянный модник и вместе с тем, случись нужда, запросто отдал бы щёгольскую рубашку другу. Он наверняка догадывался, что помогающий людям рано или поздно начнёт презирать их, но эта догадка никак не влияла на его решения. Однажды, посетив первопрестольную, он совершил открытие: Москва, оказывается, растёт кольцами, как дерево. А в другой раз случайным опытом определил, что, если букет черёмухи оставить в закрытой комнате, на другой день там будет пахнуть котами. Он точно знал, что спящего человека змея не жалит, что на новом месте, пока не подерёшься – не приживёшься, что у осинки не родятся апельсинки, что если ты по зодиаку – Рыба, а по жизни – дерьмо, то нипочём не утонешь. И девиц у него было – на каждом стуле по фигуре. Что он находил во мне – ума не приложу.

Отец Михея ушёл в другую семью, так что жил он в трёхкомнатной квартире с матерью и дедом – некогда бравым военным моряком, капитаном первого ранга, разбитым уже не первый год безжалостным инсультом. Свидетельством былого блеска служили висевший в шкафу чёрный офицерский китель с орденскими планками, пожелтевшая, военных времён фотография на стене (молодой дед в бескозырке с пистолетом-пулемётом Шпагина в руках) и кортик – он вызывал безоговорочное уважение.

Мать, чувствуя неустойчивость и артистическую переимчивость Михея, в меру сил следила за его приятельскими связями – не дай бог угодит в какую-нибудь гнусную компанию. Благодаря опрятности и музыкальным склонностям мне удалось добиться её расположения. Поскольку мать Михея с утра до вечера тянула лямку товароведа в крупном мебельном магазине, его квартира часто использовалась нами как место встреч и посиделок. У меня в доме мелькала сестра, способная испортить любые луперкалии, а дед Михея препятствий нашим шабашам, даже если бы и захотел, чинить не мог. Инсульт парализовал правую половину его организма и, несмотря на то, что передвигался дед всё ещё

своим ходом, делал это еле-еле, – когда он начинал шаркающий путь из своей комнаты в нашем направлении, мы знали, что имеем достаточно времени не только на то, чтобы спрятать бутылки, но при необходимости можем начать и завершить генеральную уборку. Во всяком случае, гимназистки успевали привести в порядок туалет, а мы – стереть предательски размазанную тут и там помаду. Да и говорить дед не мог – в арсенале его солёного языка сохранилось лишь несколько форм мычания, нечленораздельного, но довольно эмоционального. То есть выдать нас матери Михея, вполне способной принять карательные меры (такой был у женщины характер: в церковь пойдёт – с попом поругается), он просто не имел возможности. Ко всему, дед был не дурак выпить – хватало одного стакана «Агдама», чтобы морской волк, впав в мягкосердечие, отправился спать и нас уже не беспокоил.

Ванчик жил в Купчине, к нему приходилось пилить на метро, а после – на автобусе. Из окна его комнаты была видна насыпь царскосельской чугунки. Его мы привлекли в коллектив за целеустремлённость – Ванчик раз и навсегда определился со своим будущим, свидетельством чему служили приобретённые им таинственным путём в собственность весьма по тем временам приличные бас-гитара и усилитель с колонкой. Вот только инструмент ему не подходил: будучи от природы довольно музыкальным и имея сильный, хотя и бесцветный, как толстое, тяжело ходящее туда-сюда стекло в дверях метро, голос, Ванчик был довольно возбудим, обидчив и с девичьей лёгкостью менял решения. Нет, басисту не к лицу нервозная маета, ему к лицу невозмутимость и устойчивость. Да и слушал он всякую свинцовую хрень, от которой мы с Михеем тосковали.

В погожие дни мы иногда выбирались с Ванчиком за железнодорожную насыпь, где зеленела и кустилась дикая жизнь, – там затевали пестринку с вином и мясом на углях. У городских детей тоже есть корни, и эти корни тоскуют по райскому саду. Мясо Ванчик таскал из загруженной морозилки (его мать, как и мать Михея, работала в торговле, но по желудочно-кишечной части) и, бывало, промахивался – оттаявший в пакете шмат оказывался не свиной шеей, а печенью или почками. Но ничего, нанизывали на шампур и почки. Там, за насыпью, мы вели самые свои горячие споры: что предпочтительнее – давящий, тянущий на дно сомьего омута свинец или пируэты воздушного змея – полёт, эквилибристика?

Щека сидел с Ванчиком за одной партой, он заехал в «Депо» прицепным вагоном. На репетицию Щека обычно приносил пару сосисок, которые, улучив паузу, чтобы спустить с них, словно чулок, целлофановую шкурку, съедал

сырыми. Ему было всё равно что играть – он не предъявлял ни острых предпочтений, ни лидерских качеств. Выглядел увальнем и, имея за плечами пять классов музыкальной школы, уроки музлитературы благополучно проспал. В отличие от него, я в музыкальной школе не бывал, но дома с детства звучали Бранденбургские концерты, «Манфред» и «Весна священная», голосили Ленский, Индийский гость, Эскамильо, Каварадосси, Царица Ночи и вообще все сказочные птахи Венского леса, итальянского поднебесья и отеческих дебрей. И времён года в нашем доме было чуть больше, чем на улице – пять: Вивальди, Гайдна, Пьяццолы, Чайковского и Глазунова. Поэтому, сколько симфоний написал Пётр Ильич, я знал на слух. Зато Щека бегло читал ноты и был неплох на бэк-вокале.

С танцевальной программой мы играли на вечерах в разнообразных заведениях (школы, ПТУ, техникумы) и под Новый год даже умудрились немного заработать. Школьное начальство к «Депо» благоволило, поскольку мы обещали прикрыть дыру в плане культурно-воспитательной работы – выступить на районном смотре самодеятельности. В новостном фокусе, точно птица в силке, давно уже бессменно трепетала тема укрепления борьбы за мир во всей вселенной – требовалось исполнить что-нибудь антивоенное. К сочинительству в «Депо» были склонны двое – я и Ванчик. Поскольку репетировали мы в моём питомнике, отковать изделие духа доверили мне, хотя тема определённо была ближе к любимому Ванчиком харду.

И отковал. Такой резкий рок-н-ролл на пониженной передаче, по темпу и звучанию нечто вроде «Suzy Q», если это кому-то что-то говорит.

Пелось там про забавного паренька Колю, который ходит на четвереньках и дверь за собой закрывает хвостом. Спит он на потолке, а вместо кофе лакает из блюдца валерьянку. Ну и прочие странности… Откуда такой сердяга взялся? Вопрос законный. Оттуда и взялся, что нечего было взрослым дядям расщеплять уран.

Тут брал разбег гитарный проигрыш, взлетал, вертелся, зависал, а следом – выход на финал: вы, мол, парни, тоже ничего, забавные, только вот на Колю не похожи. Это не дело – с хвостом и на карачках прикольнее. В общем, давайте-ка попросим и нам на город парочку грибов отвесить.

Ребята одобрили – подход к теме не уезженный. Однако после публичного исполнения песни на районном смотре в репетиционной площадке «Депо» было

отказано. Да и чёрт с ней, на носу – выпускные экзамены, всё равно скоро пришлось бы со школой прощаться. Словом, мы не очень огорчились. Мы были молоды и смотрели в будущее с весёлым ожиданием. Нам было по семнадцать лет.

Нет, Михей был на год старше – в осенний призыв он надел тельняшку и отправился на службу в ВМФ – по стопам деда. Поэтому он не попал в Афганистан, а будь там море, непременно бы добрался. Таким, как он, беспокойный характер не позволяет умереть мирно. Зато поучаствовал в морской блокаде бурлящей в очередной раз, как дурной желудок, Польши.

Больше в этом составе мы уже не собирались. Когда Михей, отслужив три года на флоте, вернулся домой, я давно играл с другими музыкантами, равняться с которыми он никак не мог. Да и не пытался. А спустя ещё три года Михей за рулём «восьмёрки» вылетел под Выборгом на встречку и угодил под большегруз. Умер сразу: как ни греши на музыкальный свинец Ванчика, а «КамАЗ» размазывает мощнее и необратимее.

Ванчик поступил в Техноложку, где собрал группу, заточенную, разумеется, под ревущий хард. Бас оставил, взял в руки лидер-гитару. Испортил пару наших старых песен – перепевая, обернул в музыку тупую и повизгивающую. Словом, добровольно ушёл на периферию только ещё вздувающегося пузыря удивительного культурного явления, много позже окрещённого асса-культурой. Нерв уникальной подлинности пульсировал перед его глазами, а он его в упор не замечал – не чувствовал, не слышал. Ему нравилось трясти под гитарный запил гривой – таково было его представление о прекрасном. В конце концов за это не судят. Но и второго шанса не дают.

Щека отслужил срочную в войсках связи, вернулся похудевшим и подтянутым. На клавиши забил – отрастил волосы, чтобы было чем тряхнуть, и пошёл под крыло Ванчика на бас-гитару.

С этим – всё, «Депо» закрылось. Пора переключать регистр.

* * *

Интермеццо: фрагмент программы «Катапульта» (начало нулевых)

Ведущий (бодро). Возвращаясь к теме передачи, уточним: вы, я слышал, однажды говорили о молниях, ударивших в наш город на рубеже семидесятых-восьмидесятых и вызвавших мощный всплеск художественной активности. Что вы имели в виду?

Август. На этот счёт есть любопытное научно-иллюзорное соображение. Я расскажу о нём.

Ведущий. Что за соображение? Кто автор?

Август. Один обрусевший бенгалец. Свои труды он не подписывает, так что считайте – автор аноним. Вкратце изложу его доктрину – так, как она осела в памяти. В пересказе возможны искажения, поскольку, принимая чью-то мысль всем сердцем, будто бы свою (чужая мысль часто является нам как не высказанная собственная), невольно промываешь её в струе личного опыта. В результате она обретает краски, отсутствующие в оригинале. Так поднятый с дороги камень, погрузи его в ручей и извлеки на свет, выглядит уже совсем иначе.

Ведущий (с воодушевлением). Очень интересно.

Август. Исследование предваряет эпиграф. Написан кириллицей на тарабарском языке, знаете – как дорожный щит в недавно братской, а теперь вновь экзотической стране, то ли желающий удачного пути, то ли предупреждающий о его опасности: «Билам бутхы ас визам уфирак! Хумра валебес явис бала пурми юм, дахта уби дахтаван».

Ведущий. И что же это значит?

Август. Я имею опыт распознавания чужой речи как музыкальной заставки души, не связанной со смыслом произносимых слов. Поэтому на разные лады прислушивался к этим фразам, вертел их так и сяк на языке, однако понял лишь последнюю: «Даже если собираешься вернуться вскоре, уходя – уходи».

Ведущий. Может быть, это бенгальский язык?

Август (смотрит на ведущего с сочувствием). Может быть. Итак, речь об асса-культуре. Молнии ударили, энергии взвились – кто-то, как водится, оказался глух и слеп, невосприимчив, а кто-то эти энергии впитал. Не с тем чтобы отяжелеть, а – чтобы засветиться. И те, впитавшие, понесли дальше, щедро делясь с первыми встречными, это жёсткое излучение – свой магнетический заряд.

Ведущий. И сколько же их было, этих облучённых?

Август. Хватило на метаморфоз. В результате их беспечных дел, в процессе проживания ими своих подсвеченных дарованным огнём жизней сгустился пространственно-временной культурный феномен, орех кристаллической друзы: такой ни раскусить, ни проглотить – застрянет в горле. И перед Хроносом он устоял. А тот сжирает всё, что подвернётся. Собственно, этот орех и был их, облучённых, главным коллективным делом, роевым творением – манящим, ярким, не похожим ни на что.

Ведущий. Это очень мило. А почему именно асса-культура? Я – о происхождении названия.

Август. Бенгалец объяснял выбор термина так: с обозначением предмета изначально вышли затруднения – не годились ни «поздний застой», ни «перестройка», ни «предчувствие перемен», ни «ленинградский андеграунд», ни «питерский нонконформизм», поскольку речь шла фактически о параллельном мире, существовавшем наряду с этими явлениями и всё же обособленно от них. Обойдёмся без дефиниций – вдаваться в ход его мысли нет нужды. Примем как данность – асса-культура.

Ведущий. Хорошо. Ну а почему орех?

Август. Если хотите, пусть будет кокон. Или ещё проще – запаянная капсула художественной событийности.

Ведущий. Нет уж, давайте – кокон.

Август. Дело в том, что это время вовсе не прошло в привычном смысле слова, а свернулось и продолжает в окукленном режиме подавать признаки жизни, тихие и странные. Оно едва пульсирует, поджидая, когда придёт пора выпорхнуть из

кокона и замысел о себе во всю его ширь осуществить. Случается же так: наваливается зной, пересыхает старица, и обитающая там улитка задраивает крышку своей кручёной субмарины, чтобы сберечь влагу тела и пережить сушь. Пока не придёт вода. Улитка обездвижена, но не мертва – под панцирем пробегают цепочки огоньков, как фосфоресцирующие змейки в мантии медузы. И если их заметил – глаз не оторвать.

Ведущий (кивает понимающе). Такая стеклянная сфера с домиком, и зимой внутри – если встряхнуть, поднимется метель. Миленькая штучка. Одно время они были популярны.

Август. Понятно – кокон вам тоже не годится. Тогда уместен образ книги. Книги, которая в своих премудрых письменах вместила тайну времени. Эти письмена заложены под доски переплёта и заперты на замки. Книга издаёт шёпоты, ритмические стуки, вздохи – живёт своей тихой силой, как гриб на болоте. В хранилище вечности, куда нам путь заказан, таких книг множество – если раскрыть какую-то из них в свой срок и прочитать, запертое в ней время развернётся, оживёт, и тут же вихрь когда-то не сбывшегося танца мир закружит. Но лишь в свой срок. Поэтому тома в хранилище лежат нетронутыми сотни лет. «Что это за книги?» – спросит юный ангел, допущенный в библиотеку. «Это могущественные книги, – ответит хранитель. – Само время доверило им свои тайны». – «Почему же они пылятся? Почему никто их не читает, чтобы тайной овладеть?» – «Праздное чтение лишает эти книги силы».

Ведущий. Очень интересно. А…

Август (перебивает). Если помнить о результате праздного чтения, понятно, почему тогда, когда время асса-культуры проживалось непосредственно, вживую, оно воспринималось как созидательная круговерть, демиургическая хабанера, а сегодня, когда не его час, вслушивание в затихающие отзвуки вызывает чувство совершенной невозможности.

Ведущий (настойчиво). Простите, хотел бы всё же уточнить. Говоря о времени, что именно вы имеете в виду?

Август. Для эллинов время было двуликим, и олицетворяли его разные божества. По существу, греки разделяли время на два явления, связь между которыми была не очевидна. То, что складывается в последовательность событий, уходит в

бездну прошлого, то – Хронос Пожирающий. Это количественное свойство времени, время прошедшее. То, что является человеку внезапно, открывает перед ним счастливую возможность, которую так легко проморгать, если не придать ей значения, не ухватить за вихор, то – Кайрос Крылатый. Это миг удачи, качественное свойство времени, его возможная вариация. Это внутреннее время человека, которое он слышит или, напротив, остаётся глух к его сигналам. Но наша глухота не отменяет то, что мы не слышим. Так вот, те, облучённые, были избранниками Кайроса. Неуловимый для других, им он сам подставлял свой вихор – указывал благоприятный миг, который нужно оседлать, чтобы успех сопутствовал самым немыслимым затеям. Они слышали внутреннее время, которое и есть прямо сейчас случающееся время мира, несущее в себе мгновение удачи.

Ведущий. Теперь понятно. А можно как-то структурно описать этот орех, этот кокон, эту запертую под крышки переплёта улитку?

Август. Разложить асса-культуру на фракции? Это довольно затруднительно. Да, собственно, и ни к чему. Ленинград той поры – клокочущая уха, где в котелке над пламенем дружно хохотала вся пойманная в сети рыба: и щука, и судак, и сиг, и линь, и сом, и скользкий мень, и остропёрый окунь. Ранжир и цеховая замкнутость отсутствовали – всё происходило едва ли не одновременно, разом, как будто в чрезвычайной спешке. Вероятно, самые чуткие догадывались о краткости отпущенного срока, поэтому создавали и придумывали впрок, с запасом, не представляя, что сгодится нынче же, а что невесть когда. Помните, у Талейрана: «Тот, кто не жил до 1789 года, тот не знает всей сладости жизни»?

Ведущий (кивает). Да-да, конечно. Кто не помнит Талейрана…

Август. Замените семёрку девяткой, и все благородные скоморохи асса-культуры подпишутся под этими словами. Подпишутся, несмотря на то, что сами давали дуба от собственного смеха, как дрожжи в браге от продукта своего метаболизма. Речь не только о музыкантах, которые хотели, точно вещие рунопевцы Калевалы, просто-напросто напеть новый мир. То есть заново, по-своему огласить тот, большой, неповоротливый, воспринимаемый как неуютный мрак, чтобы вызвать к жизни другой мир – лучший. Пусть не вполне отчётливый, но наверняка более приветливый и достойный их, таких неугомонных, славных раздолбаев. О них, музыкантах, речь в первую очередь. Но и художников, поэтов, лицедеев и тех, кто не укладывался в рамки жанра и творил цветной витраж из собственной единственной и драгоценной жизни, это касается тоже.

Ведущий. Может быть, стоит назвать имена? Как я понимаю, герои, запертые в этой магической книге, отнюдь не безымянны.

Август (задумчиво смотрит в потолок студии). Слушая сегодня шёпот, перестук и вздохи, раздающиеся из-под переплёта, оценить личный вклад каждого персонажа в её, этой книги, производство, пожалуй что нельзя. Первенство того или другого определялось волей мгновения – от музыки флаг переходил к живописи, затем снова к музыке, затем к кино, к театру, потом ещё раз к живописи, снова к музыке… Вихрь закручивался, набирал силу, и в центре его воронки, в глазу бури, один танцующий дервиш сменял другого – Гребенщиков, Шинкарёв, Курёхин, Майк, Цой, Новиков, Африка… Список можно расширять и расширять – кроме ключевых фигур были и гении мизансцены, и предтечи, и пехота, и те, кого конструкция с сердечником, вокруг которого вихрился вихрь эпохи, выдёргивала из далёких мест и втягивала в свой бешеный круговорот. Например… (Перечисляет около тридцати имён.) И много кто ещё… У каждого из них был свой триумф, своя минута славы. И свой вклад в коллективное творение особенного времени-пространства, где и по сей день длится их звёздный час. Длится потому, что то время, как сказано, не завершилось – свернулось в кокон и спрятало внутри свою загадочную истину, которая ещё будет предъявлена в финале, подобно сердцу на суде Осириса.

Ведущий. Ряд имён убедительный. Хотя некоторых из названных вами припоминаю уже с трудом.

Август. Бенгалец считает, что кое-кто из моего перечня не входит в описанную им локализацию, то есть в мир асса-культуры, а представляет отдельную ветвь явления или вообще самостоятельную пьесу. Например, Шинкарёв, Шагин и все митьковствующие – это особый пещерный город со своим опытом проживания, именуемым дык-бытие. Что ж, каждый, кто помнит тех людей, волен сам соотнести того или иного с бесспорным эталоном. Которых здесь по меньшей мере два – Курёхин и Новиков.

Ведущий (улыбается). Помня о Хроносе, пожирающем память, не могли бы вы сказать пару слов о каждом?

Август. Сергей Курёхин, кроме того что был феноменальным пианистом и композитором, отвечал за архитектурный ансамбль возводимого мира, благодаря чему этот мир уже невозможно было с чем-то спутать. С какого боку

ни взгляни – всё парадокс и удивление. Остроумец, интеллектуал, паяц и демиург, он олицетворял явление в целом, каждый раз оказываясь вдохновителем едва ли не всех его самых выразительных проделок и протуберанцев. Он совмещал несовместимое – архаическое и модернистское, классическое и авангардное, изысканно-умственное и карикатурно-идиотское. На его концертах-шабашах, прокатившихся волной по миру, звучали разом симфонический, народный и военно-духовой оркестры, солистами выступали гуси, поросята, лошади и коровы, в одной команде пели звёзды политики, оперы и эстрады, художники-некрореалисты рвали зубами осьминогов, американские шпионы, советские дипломаты и лилипуты-трансвеститы исполняли танец с саблями под аккомпанемент ритм-секции, собранной из олимпийских чемпионов-тяжеловесов и кордебалета Мариинского театра… Он был великий человек – фейерверк, постоянно действующий взрыв. В отличие от тех пророков постмодерна, что вылупились из позднего советского диссидентства, пропитанного духом фиглярства и посредственности, он понимал постмодернизм как водораздел. С одной стороны – завершается многовековой цикл истории, целая эпоха, порождённая новым временем, с другой – открывается возможность обратиться к реальностям, на отрицании которых эта эпоха возводилась. Курёхинский постмодерн, гомерически хохотавший над глубокомыслием культурно-исторических раздумий и рефлексий, одновременно санкционировал реабилитацию мира традиции. Вспомнить хотя бы его империализм, его мечту об «империи ежового типа», ощетинившейся снаружи и мягкой, нежной изнутри. Этакий синтез предельного тоталитаризма с предельной свободой. Даже высшая мера наказания в его империи носила метафизический характер и осуществлялась через казнь души. Отсюда тотализация его чудесной «Поп-механики», куда он рекрутировал едва ли не все виды искусства. Музыку – от горлового пения, через классическую оперу, до утюгона, – поэзию – как мелодекламацию, – балет, цирк, живопись, театр, эротический перформанс, декоративное искусство и так далее. Экспансия за пределы жанровой ограниченности, беспрецедентный империализм в искусстве – вот что это было. И смех Курёхина определённо звучал странно и неоднозначно. Тот, кому казалось, будто он понимает смысл его улыбки, мало отличался от того, кто искренне недоумевал. Его жизненный проект был невероятен и амбициозен в высшей мере – «Поп-механика» до сих пор не исчерпала своего новаторства, хотя и не успела воплотиться в до конца тотальный проект. Да что говорить – редко когда повезёт столкнуться с таким очевидным и в то же время таким простым предъявлением объективной магии, которая осуществляется прямо на твоих глазах. Тут недалеко до подозрений, что в ходе этих камланий вносились точечные поправки в частоты колебаний суперструн, благодаря которым само мироздание есть то, что оно есть. Я имею в

виду трёхмерную брану, в которой мы увязли, точно муха в липучке, – все иные измерения проложены вне этого листа и нам заказаны.

Ведущий (с воодушевлением). Блестяще! А Новиков?

Август. Тимур был генеральным учредителем художественного вкуса асса-культуры в её оперативно развёрнутом формате. То есть соотносил координаты вечности с конкретной датой. Весть о нём всегда бежала впереди него, интригуя, очаровывая, маня обаянием изящного скандала. Новиков вывел на художественные подмостки, где до него мрачные правоборцы в растянутых свитерах гневно потрясали цепями, молодняк. Этот молодняк плевать хотел на цепи и на власть, которая для него тогда имела ту же природу, что и растянутые свитера, не пускавшие юных безобразников на свои выставки. Тимур заставил всех считаться с существованием этой новой генерации. Он организовал «Ноль-движение», «Новых художников», «Клуб друзей Маяковского», «Новую Академию» и чёрт знает что ещё. Художников и групп он налепил столько, что искусствоведам хватит материала для научного паразитизма на многие годы вперёд – потребность обращать жизнь в сказочное приключение не отпускала его ни на миг. Его «Новые художники» переросли в движение, охватившее весь молодёжный авангард. В стилистическом плане их практика стихийно совпала с подобными движениями на Западе – «ист-виллиджем» за океаном, «фигурасьон либре» во Франции и «ное вильден» в Германии. Но если западные сверстники «новых» так и остались в восьмидесятых, повиснув экспонатами в музеях современного искусства, их русские соратники подобным не удовлетворились. Съездив за границу, где они угодили в ласковые объятия художественной элиты, модных французских философов и звёзд Голливуда, бывшие авангардисты вернулись домой убеждёнными патриотами и консерваторами. Так возник неоакадемизм – такое же агрессивное, стремившееся к тотальному охвату явление, как и «новые», вполне готовое подписаться под лозунгом панков начала восьмидесятых: «Бодрость, тупость и наглость!» Во всех своих начинаниях Тимур держался принципа «игры на опережение», ибо понимал: побеждает творец завтрашней моды. Он развивал и накачивал энергией традиционный петербургский минимализм – стремился к наиболее эффективным художественным жестам при наименьшей затрате энергии, что точно соответствует универсальному принципу живой природы. Чтобы стать эффективными, жестам следовало быть не заёмными, а уникальными в своей выверенности – только это, по Новикову, и следовало понимать под словом «творчество». Он был зорким человеком. Он с первого предъявления распознавал красоту. И этот зоркий человек последние пять лет своей жизни был слеп. Красота ослепила его. Что ж, и не такие зубры со временем становятся

достойными того, что с ними происходит. Даже если мы говорим о выпавших на их долю несчастьях.

Ведущий (мечтательно). Да… Помню, на выставке неоакадемистов в Манеже…

Август (перебивает). Они, конечно, разные – Курёхин и Новиков. Но вместе с тем во многом схожи. Их главным творением были не записанная или сыгранная музыка, не картины, герои и события, а художественная ситуация в целом. Поражает скорость и воздушность их – и, разумеется, их соратников – захватывающих пируэтов. Никакого изнурения, вынашивания замысла, мук творчества – произведения, даже подлинные шедевры, создаются и проживаются на лету, как узоры текучей жизни. Ничего не жаль по отдельности, ничто по отдельности не рассчитано на вечность. Именно поэтому вечности пришлось принять всё время целиком, обернуть в панцирь и задраить люк – до срока, когда вновь придёт вода.

Ведущий (настойчиво, почти капризно). Тимур тогда ещё не был слеп…

Август (перебивает). Вы спрашивали, сколько их было – облучённых, услышавших время в себе. Никто не скажет точно, но, повторю – хватило. Хватило на то, чтобы построить наполовину призрачный, однако признанный и осязаемый за счёт предъявленных сокровищ мир, который к концу девяностых исчез с радаров, как Китеж перед ордами Батыя.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ru/pavel-krusanov/yasnoslyshaschiy

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить